

Елена МИХАЙЛИК

Состоянье населения на планете таково,
что не вводит в изумление только Бога одного,
да и он посменно занят: там работ на тыщу лет –
ликвидировать в дизайне все, что выявил сюжет.
Сатана ведет отчеты (мелких пропусков – на треть):
– Кайнозой... чем здесь работать, проще лечь и помереть...
Да, отладим, да запустим, дальше – розы, резеда,
белена, чума, капуста, но разумных – никогда.
Бог в процесс добавил снега (разберут, еще нальём)
он-то знает, что коллега сохраняет весь объем,
потому что жалость, милость, черный дым, кривая ось...
получилось, получилось, получилось, создалось.
И рассветы, и закаты, тленье, вирусы, мосты
сумасшедшие приматы и охотничьи коты,
хоть финал на небе вышей от Путивля до Плеяд,
эти все найдут, где выжить –
не отыщут, так напишут,
не напишут, так надышат,
от морского дна и выше,
рыбьим кличем,
птичьим китчем продолжение сочинят.

Гиппопотам пришел в Серингапатам –
Мол, здесь крокодилы хотя бы прячутся по кустам
(и по болотам),
а по Европам они, с туристами пополам,
ходят галопом.

Ты, видовой шовинист, уходи от нас
в свой Зулуленд, где бродит Умслопогас
(выбрав слепую саванну, чей день погас, собственной спальней),
пусть он берет с тебя кость, и шкуру, и горький ил,
чтобы китаец тешил любовный пыл,

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ. С 1993 года живёт в Сиднее, преподаёт в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии. Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Премия Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» (2019). Автор четырех книг стихов. В «Волге» стихи публикуются с 2013 года.

а крокодил, что тебе так не угодил,
наш, эндемичный, в общем, всегда тут жил,
а в Пакистане и вовсе – национальный.

Гиппопотам оглядел окрестный народ
И возгласил – но он же вас просто жрёт.
Чем он хорош вам,
что вы его допускаете каждый год
к нивам и рощам?

И отвечают жители этих мест:
как-то надежней с соседями, кто нас ест,
сколь бы ни были жадны эти дети тьмы
и боевиты,
все ж до последней унции знаем мы
их аппетиты,
ты же нас просто затопчешь любым числом
мирно гуляя по городу напролом,
и не считая,
так что вали к Чуковскому, в первый том,
да крокодилы бродят, но там твой дом,
и Ленинград, и мосты, и на перелом
лето выходит, белым ночным крылом
сад задевая,
и, наконец-то, слышишь, тут, за углом
грохот трамвая.

– Что у вас творится в этой вашей Твери,
что за исторические лица жужжат у неё внутри,
взойдешь на приречный взгорок – время сводит глаза...
был же обычный город несколько лет назад?
– Как бы тебе сказать...

– Что у вас творится в этой вашей земле?
Слоняются зубастые птицы в роде, виде, числе,
на стыках, в мокрых распадках стоит взгляд скосить под уклон,
так вместо болотных осадков лезет верхний карбон,
живой и даже не странный лезет со всех сторон.
– Ну, в общем, примерно он.

– Что у вас творится в этой вашей среде,
какая, небось, кладовщица поставила точку, где,
все стало одновременно – мэрия и Юра,
встают из пятницы стены, трамвай идёт до вчера*,
и в нем – что ж не взять постоянный? – до Пролетарки чуть свет
Лавразия и Гондвана покупают билет...
– Так здесь постоянства нет.

А есть – на тверди, в воде – всё то, чего нет нигде,
всё то, что сердцу желанно.

* автор знает,
что взрывы в космосе не слышны,
что городской карбон не рискует высовываться выше
семиметровой глубины,
завывая,
а в Твери от автовокзала и до Луны
уже пятый год нет никакого трамвая.

«Матушка, кто это бродит с огненными мечами.
перепугал вокруг гекконов и кошек,
выкосил луг, споткнувшись... ну тоже дело... он какой-то эдемский
заробитчанин?
Что он здесь хочет?»

«Мама, твердил о жертвенниках, о награде,
требовал ягненка убить... это от меня-то.
Спрашивал брата, зачем на нем нет печати...
Что ему надо?»

Хава встаёт, вытирает полотенцем красные руки,
время не очень спешит быть властным над нею.
«Ты же сказал – «это все она». Так теперь это просто дети и внуки.
Не твои. Не текста. Только мои – и змея».

Мне семьдесят пять.
Пенсионный возраст – сто двадцать.
я точно доживу,
но вряд ли выйду на пенсию.
Нас мало.
Людей, умеющих чувствовать время до минуты,
составлять планы, обучать машины
и – особенно – объяснять нужное другим людям
так, чтобы сделали по инструкции,
а не по неизвестно сколько капель
сварочным аппаратом
в позачетверг,
потому что какая разница?

*Я до сих пор помню тот звук,
хруст разрывающейся ткани...*

Нас почти нет
с тех пор, как пролетел Ангел.
Кто постарше – бывшие гуманитарии,
художники, танцоры, повара.
Те, для кого способность
ловить последовательность, последствия,
их голос, и звук, и ритм,
настолько встроена в совсем другие процессы,
что её просто не заметили.
Пропустили.
Забыли стереть.
Или не сочли нужным.
Потому что какая разница?

*Нет, мы не кричим в мегафон:
«Уберите [цензура] тридцатку с маршрута А,
Тройка идёт встречным по нему же
и через пять минут эти пешеходы встретятся!»
Мы устраняем возможность.
На стадии проекта. Заранее.
До того, как кто-то услышит хруст,
звук реальности, разодранной на до и после.*

Нужной памяти, нужных умений –
несколько горсток в каждом поколении.
Впрочем, одновременно живущих поколений
стало больше.
Примерно вдвое.
Все равно – мало.
По-хорошему, не хватает даже на нужды медицины.
(медициной мы занялись сразу –
люди не могут, не смеют, не имеют права
жить так плохо и так мало,
особенно если в небе над ними
все ещё возможна такая сволочь...)

А мы ведь еще возводим башню.
Ту самую, до верхнего края неба.
Лифт на орбиту (есть),
кольцо орбитальных станций (есть),
лифт до Луны и города на Луне,
следующий в перекрестье – Марс.
А дальше, пока за горизонтом,
но ещё на моей жизни,
начнётся прыжок –
Церера-Европа-Энцелад...
Я знаю, я считала, так будет.

*Он просто возник и распахнул крылья –
это были именно крылья,*

*птички, огромные, радужные,
отливающие золотом по краю...
как на старинных картинах.
Фра Беато Анжелико поймал правильно,
и это, и все остальное.
Крылья видели все –
даже те, кто смотрел в землю.
даже те, кто спал.
Распахнул, повёл через небо огненной полосой...
И большинство забыло,
как видеть будущее, думать по времени вперёд...
Если честно, большинство и до Ангела
плохо это умело.
И не хотело пользоваться.
Но раньше это знание жило в них, дремало в них,
а теперь погасло.
Но тогда все просто смотрели в небо,
любовались, радовались...
хотя даже по Библии несложно понять:
увидеть ангела – очень, очень дурная примета.*

И еще этот звук.

*С внешних миров начнется настоящая работа.
Выход за пределы системы,
чтобы никто, никогда, ни при каких обстоятельствах
не смог изменить всех одним взмахом крыла,
не смог стереть,
не смог запереть ворота,
сказать человечеству «досюда и не выше» –
эти слова, их тоже слышали все,
на всех языках земли...
И поняли: это приказ.
Но мы начали наш путь с мятежа –
уже начали.
С чего бы нам подчиниться?*

*За стеной поют.
Мы не отдали строительству все –
нам пришлось избрать путь пчелы,
путь специализации,
но мы живём лучше пчёл – дольше, плотнее, счастливее.
Раньше не умели, но с тех пор, как пролетел Ангел,
радость каждого стала важной.
Такой же важной, как Башня.
Даже важнее...
Башня – это способ, но не цель.*

*Даже во сне я слышу,
как кирпичи ложатся на кирпичи,*

(между прочим, мы вернулись к керамике,
хотя жители Междуречья вряд ли узнали бы
в нашей синей-черной-прозрачной чешуе
свою глину.

Тем не менее, это она.),
как растут слои,
выщёлкиваются новые отростки,
тянутся вниз воздушные корни,
как огонь летит на огонь.
Здесь всегда – как на ободках старых карт –
водились драконы,
но спали,
а потом их разбудили,
дали стимул, мотив, повод...
Звук.

*Музыка течет в крови людей и машин,
математика вращает колеса,
музыка говорит «что»,
математика «как»,
радость – зачем.*

Я считаю и лечу, и слышу разногласицу вавилонана...
и думаю: в прежнем мире,
вне истории,
до самой первой башни,
наверное, тоже случилось что-то.
Как в этот раз.
Большое.
Неподъемное.
Такое,
что на одном языке, понимая друг друга,
мы, то есть люди, никогда бы не выбрались.
Не выжили.
А на разных договорились так прочно,
что от проблемы не осталось даже имени.

*Когда-нибудь, этот звук повторится наяву.
Хруст накрахмаленной ткани.
Разрыв.*

Но это будем мы.

И я не знаю, что мы скажем ему,
что мы сосчитаем, вырастим, споем ему,
этому Ангелу на той стороне огня.
и на каком языке.

Но это будем мы.

По мне прошел холодный фронт и снес меня ветром в понт
и теперь я плыву в сиднейском порту с водорослью во рту.
И рыбы в серебряной броне сочувствуют мне вполне:
как можно дышать в этой жидкой бурде, неподконтрольной среде?
Давление, куда они погружены, зависит от глубины,
(а также немного от фаз луны и возможности видеть сны)
и, если выберешь рыбий путь, то заслышав грохот, с которым рвется
водная гладь,
можно нырнуть, и еще нырнуть... и в принципе не всплывать.
И потом в музее – среди электрического янтаря, видишь, как жар горя,
костяные пластины, фонарик, роскошные челюсти, кожная бахрома
(а вовсе не чешуя) –
вовне достойные Босха и не менее уместные здесь –
и не нужно зеркала, чтобы узнать: но ведь это же просто я...
Это ведь я и есть.

семейный портрет в интерьере

I.

Королева глядит на речной разлив, на волну и ее курсив,
она бы этой сырости предпочла свой теплый голландский дом,
ее муж нечасто пишет с фронта, но пишет, а значит – жив,
и это все, что ей нужно знать о противнике и о нём.

Ее семья за нее решила – в тяжелые времена
откупились принцессой от дракона, и не нашелся рыцарь или герой...
А дракон не ест, что ему не мило, и ему не нужна жена,
а нужен – надежный зампотылу, товарищ, равный, второй.

Теперь они правят в ее дому, и утром, глядя на тень свою,
королева видит острые крылья, ламеллярную чешую.
Еще столетие до порога, столько работы, города, законы и корабли,
но ей уже слышно, как страна понемногу отрывается от земли.

Королева подбирает к пудре нужный оттенок «руж»,
подбивает баланс, исправляет проект закона, компромиссную точку определив,
и думает: если супруг Марии был таким же, как ее муж,
как они, наверно, шли сквозь ту Иудею, борт о борт, на прорыв.

II. Плач о Людовике XIV

В мире пробило полдень и ты стоишь как солнце в зените,
диктуешь смысл и форму событий на этом материке,
царства земные – твоё наследство; задача связать их и сохранить их,
тяжела – ибо мир не любит порядка, но тебе – по руке.

Только с другой стороны границы, неслышный, невидимый, невесомый,
уже почти взлетевший туда, где звёзды можно щелкать на вкус,
сутулый астматик, наследник Тутти, черный дракон Оранского дома,
опознает твой рай и меняет курс.

И там где вот-вот взойдут по линейке дворцы и подати, сон и стража,
единство религии и закона, сад, не знающий бед,
вдруг лезет всякая шваль и сволочь, «Билль о правах» и волна с плюмажем
и никакой мировой порядок не выдержит этот бред.

Дальше... люди не помнят неслучившегося дурного,
тени несбывшихся империй не сохранит мировой эфир.

Тот, кто был Цезарем или смертью, поглядев на тебя, поклялся стать человеком
и сдержал своё слово –
так что в каком-то смысле ты и вправду спас этот мир.

И маленький эпилог.

А потом они осядут в мелком шрифте книг
воплощением нормы своих земель.

А потом придёт профессор и напишет с них
(хотя, конечно, не только с них)

Фаразона и Мириэль.

И услышит сдвоенный недобрый смех
с той стороны стекла.

Потому что с бессмертием у них – как у всех,
даже несколько печальнее, чем у всех.

Но Волна – не прошла.

Суровый Дант не презирал болота,
Хотя там вечно выводилось что-то,
Что размывало разум добела,
И небо осыпалось рваной тканью,
И воздух твердо возражал дыханью,
И лес глотал входящих как смола...
И эту ночь пройдя до половины,
Сводил ее, гранил, ловил в терцины
Чумные вихри, всех историй дым,
Поскольку перекошен и расколот
Внутри, лекалом, жил тот самый город
И ад, увы, не следовал за ним –
Здесь грани прочно заскорузли рыжим,
Здесь даже смерть сама не может выжить,
Здесь как ядро расщеплен смысл и быт...
Ад – лишь гербарий, склад, запас культуры,
Свинцовый пласт на дне литературы...
А город все парит, и все горит.

Тыква, проснувшись после бала, обязуется соблюдать устав для цветов и трав,
не превращаться, не летать, не возить домочадцев куда попало,
то есть, она так обещает, но последовательность глав
убеждает, что в этом вопросе ей веры мало.

Потому что семечко (не сгнившее, не пошедшее на лекарства, не расщёлканное
революционным матросом) ляжет в землю, потом выпустит плеть
И плод поползёт наращивать плоть, оранжевым боком впитывать лето...
избыток материи там, внутри, жаждет менять, исправлять, петь,
а обиженных, запертых, убитых в окрестностях хватит на сто сюжетов.

Феи-крестные – стратегический арсенал, зачем им мешаться в спор,
если дело спокойно (и с большим удовольствием) способна решить пехота?
Серая крыса, рыжая тыква глядят друг на друга через забор,
Ночью они допишут строку до свадьбы или переворота.

И вот уже дорожка светла и злая полночь бела,
карета расправляет крыла, усатый кучер пускает в небо колечко дыма.
А будет ли кто-нибудь счастлив после – это не их дела.
Только повседневная работа для тех, кто переживёт зиму.

Литература – это о том, как делать,
о том, что делать – техника безопасности, механика, наука о движении тел.
Автор революционной повести «Бронепоезд 14-69»
в жизни видал ту революцию преимущественно через прицел.

Написал, как положено, наоборот, и, кажется, даже текстура
агитирует за советскую власть граммофонной ударной волной,
но, похоже, настоящая вражеская подрывная литература
с течением времени становится все более вражеской и подрывной.

Так что потом, в других временах, уже не там и не с теми,
собираешь на сетчатку все, что экран принес,
вместо скверных слов произносишь «радикальное упрощение всей системы»
и по ритму опознаешь ковыляющий лязг колес.

И когда в устье Леты впадает течение лет,
и любое дыханье встречает твёрдое «нет»
как субстанцию, как минус двести семьдесят пять повсюду,
кто-то во множественном числе – физик, биолог, фольклорист, законовед –
раздраженно бросает: так совершенно невозможно работать, здесь когда-нибудь
будет свет?
И свет выдыхает свет и кашляет: буду.